Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«В биографиях Н.А. Добролюбова (гг. Скабичевского и Филиппова), а также в «Материалах» для его биографии (переписка Добролюбова) упоминается имя А.П. Златовратского, моего родного дяди, который был довольно близким товарищем покойного Николая Александровича как в Педагогическом институте, так и после, до смерти его...»

- Николай Николаевич Златовратский
  - * *

Николай Николаевич Златовратский
Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове

* *

В биографиях Н.А. Добролюбова (гг. Скабичевского и Филиппова), а также в «Материалах» для его биографии (переписка Добролюбова) упоминается имя А.П. Златовратского, моего родного дяди, который был довольно близким товарищем покойного Николая Александровича как в Педагогическом институте, так и после, до смерти его.

По окончании курса в институте дядя поступил учителем словесности в рязанскую гимназию, а затем года через три или четыре перевелся в ставропольскую гимназию, где скоро и скончался от скоротечной чахотки.

В это время, в 64 году, я кончал гимназический курс и особенно увлекался чтением критических статей Добролюбова, которые в то время вышли уже отдельным изданием. Этот особенный интерес к нему поддерживался во мне в то время, помимо всего прочего, тем, что я хорошо знал о приятельских отношениях между дядей и Добролюбовым. Последнего я даже лично видел в нашем доме, когда он в 61-м году, возвращаясь с родины из Нижнего в Петербург, заехал в конце летних каникул к нам для свидания с гостившим у нас дядей. В это время отцом моим, совместно с близким интеллигентским кружком, предполагалось издание первой независимой в нашем городе газеты «Владимирский вестник», в котором обещал принять участие и Добролюбов. Но этому не суждено было осуществиться; в конце октября этого года Николай Александрович умер, а вслед за ним, года через два, умер и мой дядя. Когда я уже кончал курс в гимназии, мне передавал отец, что Чернышевский, собирая материалы для биографии Добролюбова, обращался к дяде с просьбой прислать ему как свою переписку с Добролюбовым, так и воспоминания об их совместной институтской жизни.

Письма Добролюбова к дяде последним, очевидно, были посланы, так как некоторые из них появились в «Материалах» в свое время и были цитируемы впоследствии биографами Добролюбова. Что же касается воспоминаний дяди, то после его смерти сохранились только черновые наброски, касающиеся лишь первых лет институтской жизни.

Повидимому, дядя обработать их благодаря болезни не успел, и они Чернышевскому посланы не были. Эта черновая тетрадь сохранилась у меня. Сличая имеющиеся в ней сведения об Николае Александровиче с теми, какие сообщены в биографиях

гг. Скабичевского и Филиппова, я нашел, что в существенных чертах они не представляют особой новизны. Но ввиду того что в них имеются некоторые штрихи, дополняющие характеристику личности Николая Александровича, а также и общей атмосферы студенческой жизни в институте, я думаю, что выдержки из этих записок могут быть не лишены некоторого значения, как показания лица, близко стоявшего к делу.

Свои записки дядя мой начинает таким диалогом: «Ты к нам в академию? – спрашивали меня товарищи медицинской академии. – Нет, в институт. – Помилуй, туда в прошлый раз с перекрестков ловили! Как не стыдно?» (август 1853 г.)

«Однако я поступил в институт (педагогический) и, кроме меня, многие другие, и многим другим было еще отказано. Такому наплыву молодых людей в институт способствовали совершенно независящие от него обстоятельства, именно – учреждение штатов в университете и медицинской академии, вследствие чего многие из непоступивших ни в университет, ни в академию, тоже по не зависящим от них обстоятельствам, шли в институт. Институтское начальство могло сделать выбор между желающими поступить, и, к несчастью для него, оно выбрало и таких лиц, которые положили конец безобразному владычеству его. В числе поступивших был и Добролюбов».

Состав первого курса, по словам дяди, оказался крайне разнохарактерным: в одних камерах преобладали семинаристы, в других гимназисты, были даже поляки и немцы. Вместе с этим и общее настроение студенчества, особенно в первые месяцы, отличалось крайней хаотичностью. Так, в семинарских камерах воцарились те же бурсацкие навыки, которые принесло с собою большинство бывших семинаристов, имевших слабость к ведению громогласных диспутов, вращавшихся большею частью в среде сплетен о профессорах и преподавателях, прежних и теперешних, о начальстве вообще и друг о друге; причем оценка производилась с точки зрения самых бурсацки заскорузлых понятий о чинах, орденах, повышениях; авторитетами для них являлись прежде всего те, которые так или иначе пользовались благоволением и милостями высшего начальства. Мировоззрение большинства юношей тоже не поднималось выше официально-чиновничьего патриотизма и формальной религиозности, воспринятых с детства. Еще низменнее было настроение в камерах с преобладающим, так сказать, «светским» составом из гимназистов и пансионеров разных столичных заведений. «Мальчики эти были, повидимому, все чистенькие, но на самом деле грязные школьники; у всех у них была удивительно развита страсть к циническим рассказам и анекдотам, любителями

которых являлось немало и семинаристов. Помимо этого, сильно развилась в то время в институте картежная игра, захватившая эпидемически чуть не всех студентов: одни играли, другие созерцали игру. Распущенность одних, какое-то бестолковое препровождение времени другими, мелочность интересов – были поистине печальны». Все это, впрочем, относилось лишь к большинству первокурсников. Но среди них было немало таких, которым претило такое времяпрепровождение и подобные дружеские беседы, но они еще не могли подыскать себе подходящей компании, оставались какими-то одиночками-бобылями, не имевшими никакой возможности пристать ни к тому, ни к другому кружку. В первые месяцы к этим «бобылям» принадлежали мой дядя и Добролюбов; последний держал себя настолько обособленно, что казался для многих «загадочной» личностью. Не только в картежной игре или фривольных дружеских беседах он не принимал никогда участия, но даже к семинарским диспутам относился с полным равнодушием, иногда только в разговоре с дядей высказывал или удивление, или негодование по поводу «диких» воззрений гг. диспутантов хотя бы относительно того, что уважаемый профессор, по их мнению, должен быть непременно украшен чинами и орденами. Уже и тогда Добролюбова начинала возмущать какая-то стадная склонность студенчества рабски поклоняться всяким авторитетам, особенно апробованным высшим начальством. В первые дни институтской жизни дядя «всегда видел Добролюбова одиноко сидевшим с краю стола, с очками большей частью поднятыми на лоб, с одной рукой около груди, а другой переворачивающим Виргилия, имея терпение заниматься даже прямо после обеда, когда в номерах все шумело в пылу картежной игры».

Таким «бобылем» он, однако, оставался недолго.

Юношество, как бы низко ни падало при неблагоприятных условиях, всегда остается юношеством, хранящим в себе все возможности духовного возрождения, раз будет для этого достаточно сильный импульс. К сожалению, институтское начальство далеко не стояло на высоте своей педагогической задачи, и юношество встретило в нем почти те же типы педагогического чиновничества, которые оно привыкло видеть и в начальной николаевской школе. Таким образом, импульс для общего оздоровления мог явиться лишь из среды самого студенчества, из среды его наиболее даровитых и нравственно чутких личностей. Долго ждать их не пришлось, так как те, которые казались сначала хмурыми «бобылями», далеко по существу своей натуры не были замкнутыми, лишенными чувства

живого товарищеского общения личностями, раз для этого находилась мало-мальски подходящая почва. Такой личностью оказался прежде всего Добролюбов, который вскоре не только стал популярным среди товарищей, но и незаметно послужил общему подъему настроения своих однокурсников.

Как натура незаурядно даровитая, Добролюбов прежде всего сразу выдвинулся своими сочинительскими способностями. Сначала блестяще составляемые им лекции по русской словесности, а затем и поданное им в совет профессоров оригинальное сочинение о Виргидии обратило на него общее внимание как начальства, так и товарищей. Последние не преминули осадить его, как знатока предмета, самыми докучливыми просьбами о разных указаниях, разъяснениях, исправлении тетрадок лекций и т. п., и Добролюбов шел им навстречу без всякого неудовольствия, очень охотно жертвуя всякой свободной минутой. Товарищи за ним ухаживали, но он не играл между ними никакой роли покровителя и, как говорили о нем, «никогда не драл носа».

Но еще большее внимание обратил на себя Добролюбов, когда, вопреки всяким традициям, он, не удовлетворяясь слушанием лекций, начал вступать с профессорами в беседы, прося разъяснений, указаний, и даже вступал с ними в оживленные дебаты. Такое новшество многим профессорам очень не понравилось. За исключением немногих лиц, известных своими научными заслугами, большинство профессоров были просто чиновники, отбывающие повинность, недалекие и малознающие. Понятно, что они старались всячески избегать «приставаний» студентов, так как это нередко вело к комическим инцидентам, подрывавшим профессорский авторитет. Между прочим, дядя приводит такой характерный факт. Однажды Добролюбов, не удовлетворившись лекцией профессора о «Мертвых душах» Гоголя, которая вся сводилась к одним бессодержательным почти восклицаниям (вроде того, что Гоголь – это русский Гомер, что и выражения у него все «гомерические», возьмите, например, такое: «на деревянном лице» – разве это не бесподобно? и т. п.), попросил его выяснить, наконец, в чем же, однако, существенное значение «Мертвых душ» для русской литературы. Озадаченный профессор, вместо ответа, спрашивает Добролюбова: «А кончил ли Гоголь „Мертвые души“?» Добролюбов уклоняется от ответа и снова задает прежний вопрос. Профессор продолжает настаивать на своем вопросе. Наконец, Добролюбов говорит, что – нет, не кончил. – «Ну, что же вы и спрашиваете меня о значении „Мертвых душ“, когда они не кончены?!» Понятно, что такого рода дебаты создавали довольно

веселое настроение в аудитории. Отзывчивая и даровитая натура Добролюбова и здесь сказалась; он принялся составлять очень удачно юмористические пародии на лекции профессоров, подобных вышеописанному. Пародии эти имели огромный успех, гуляя по всему институту. Как известно, в этих пародиях уже тогда сказалась та склонность Добролюбова к юмору и сатире, которая впоследствии нашла такое удачное выражение в «Свистке».

Однако такие комические дебаты на лекциях и добролюбовские пародии рождали не одно только веселое настроение. Они незаметно поднимали общее духовное настроение студенчества, заставляя его критически относиться к тому, на что прежде смотрелось, как на обычное отбывание школьной учебы.

Вместе с Добролюбовым в это время стал пользоваться не меньшей популярностью и влиянием юноша Щеглов – личность чрезвычайно энергичная, с широким энциклопедическим образованием; сын священника, он сначала воспитывался в семинарии, но оттуда был «выгнан», очевидно за излишнюю самостоятельность характера и мнений, и принужден был закончить курс в гимназии. Это развило в нем, по словам дяди, непримиримую ненависть к «семинарской закваске», и он пользовался всяким случаем, чтобы протестовать против заскорузло бурсацких взглядов, которых держались многие институтские «семинаристы». Последние отнеслись к нему вначале очень враждебно, обвиняя его в личной ненависти к ним. Но Щеглов в это время близко сошелся с Добролюбовым, и скоро все поняли, что его протест истекал из чистых побуждений рассеять мрак и предрассудки своих товарищей.

Сближение между Щегловым и Добролюбовым, скоро перешедшее в близкие дружеские отношения, имело благотворное влияние на их развитие. «Это была замечательная пора в жизни Н.А. Добролюбова, – замечает дядя, – начало перемены в нем, перемены во всяком случае к лучшему», так как и Добролюбову были в это время еще не чужды многие предрассудки, воспринятые из близкой среды. В первую пору новые приятели были, можно сказать, неразлучны, они даже кровати в спальне поставили рядом, вопреки институтским правилам. Добролюбов в это время серьезно принялся за изучение французского языка, и, вместо Виргилия, у него появились в руках сначала французские романы, а потом сочинения Руссо и Прудона; все больше и больше времени он отдает чтению, все чаще начинает посещать Публичную библиотеку; от кого-то он стал приносить в институт

«Отечественные записки» и «Современник» времен Белинского. Дядя брал у него эти книги, толковал с ним по поводу статей Белинского, и это послужило началом их сближения. Вообще в это время он сделался еще общительнее, все более расширяя круг своих товарищей. «Помню, говорит дядя, придет он, бывало, в нашу камеру с Белинским и начнет читать; потом вдруг поднимет по обыкновению на лоб очки и заговорит восторженно: – Удивительно! Ведь все это было читано и перечитано прежде, и теперь все читаю как будто новое!» И затем шли по поводу прочитанного длинные беседы с дядей, Щегловым и со всем товарищеским кружком.

Но это повышенное и жизнерадостное настроение Добролюбова скоро сменилось таким удрученным душевным состоянием, которое в значительной степени изменило его юношески наивное умонастроение. Как известно, в это время неожиданно умерла у него горячо любимая мать, а затем вскоре отец, оставив исключительно на его попечение семерых младших братьев и сестер. По поводу этого дядя утверждает, что «Дневник» Добролюбова, впоследствии напечатанный в «Современнике», очень ясно представляет влияние этих неожиданных невзгод на его душевный строй и перемену некоторых убеждений. В первые дни после пережитых тяжелых впечатлений он то впадал в самый мрачный мистицизм, например, доказывая дяде, что отец его умер от того, что снял с себя фотографический портрет, то с необыкновенной резкостью отрицал всякие мистические предрассудки. Очевидно, в нем, как в натуре глубоко искренней и любящей, происходила тяжелая борьба. Так одно время, чтобы спасти семью, он думал даже оставить институт и поступить в священники на место отца. – «Знаешь что? – сказал он дяде, – мне предстоит удовольствие быть священником…» – «Как так? – заметил дядя, – ведь теперь уж нельзя, ты уволен из духовного звания». – «Нет, это ничего, а *другое*…» Очевидно, он намекал на происходившую в нем душевную борьбу.

Но ни этой борьбе, ни тяжелым ударам судьбы не удалось надломить духовную энергию сильного морально юноши; напротив, они только еще более закалили ее, и он вскоре выступил снова на энергичную борьбу за право на разумную человеческую жизнь.

Несмотря на то, что ему теперь для поддержания семьи и устройства собственной будущности требовалось крайнее напряжение сил, он не только не отходил от товарищества, но, вместе с Щегловым, продолжал группировать около себя целый кружок своих товарищей и поклонников. Многие из них, по словам дяди, благоговели перед Добролюбовым, и он служил для

них высшим авторитетом. Кружок этот впоследствии получил название «Добролюбовской партии». В нем прежде всего шло ускореннее знакомство с передовыми литературными течениями; выписывались вскладчину «С. – Петербургские ведомости», «Современник», «Русский вестник», и все это под страхом наказания и конфискации от своего начальства. «С. – Петербургские ведомости», например, приходилось выписывать на имя швейцара, по секрету. Под строгим запретом были и все те журналы, в которых помещались статьи Белинского. Мало этого, институтское начальство крайне неодобрительно смотрело на посещение студентами даже императорской Публичной библиотеки. Чем, однако, больше духовные интересы и запросы юношей, тем, конечно, их все более начинали раздражать институтские порядки, и, понятно, прежде всего это раздражение и критическое отношение к начальству и профессорам сказалось в кружке Добролюбова. Он до мелочных подробностей анализировал недостатки института и во всеуслышание и резко агитировал за коренное его переустройство. Скоро начальство (и особенно директор) зачислило Добролюбова и Щеглова в число самых злонамеренных людей и вооружилось против них всей силою своей власти. «Смешно и грустно, – замечает дядя, – становится, припоминая эту борьбу, борьбу всесильного деспота, старающегося в своих преследованиях быть законным». Директор искал только случая, который бы послужил ближайшим предлогом к удалению Добролюбова из института. Вскоре ему донесли, что у Добролюбова и Щеглова хранятся запрещенные книги и политические памфлеты (вроде распространенных тогда воззваний «К дворянству», «Юрьев день», приписывавшихся Герцену, запрещенных стихотворений, каким, например, считалась тогда «Забытая деревня» Некрасова). У Добролюбова и Щеглова был сделан в ящиках тщательный обыск, и, хотя ничего серьезного найдено не было, за исключением невинного юмористического стихотворения (кажется, на Греча), Добролюбов был посажен под строжайший арест. Однако на другой же день Добролюбов был освобожден благодаря заступничеству Галахова и других профессоров, ценивших Добролюбова как очень даровитого студента. Директору пришлось затаить свою месть до более благоприятного времени. Со своей стороны, и Добролюбов с Щегловым убедились, что их агитация против начальства, которую они вели непосредственно в стенах института, не стоила таких хлопот и риска; их уже начали увлекать другие, более серьезные и общие интересы. Вместе с наиболее близкими из своих товарищей они наняли частную квартиру, где и собирались в свободное от лекций время для чтения «запрещенных»

институтским начальством книг и дружеских бесед. Между прочим, кружок лиц, собиравшихся на этой квартире, несмотря на свои очень скудные средства, делал складчины и собирал пожертвования в пользу, например, таких лиц, как несчастные студенты медицинской академии, сосланные в звании фельдшеров в отдаленные губернии «за донесение о непорядках в академии не по начальству».

Между тем крайняя необходимость иметь заработок, с одной стороны, и все сильнее сказывавшаяся склонность к литературной деятельности, с другой, уже к концу институтского курса поставили Добролюбова в близкие отношения к современной литературе.

Однажды он показывал дяде том «Академических известий второго отделения». «Смотри! – говорил он, указывая на первую страницу. – Читаю труды: академиков – имена, членов корреспондентов – имена, посторонних ученых – имена, и в том числе имя Н.А. Добролюбова. Он по обыкновению расхохотался и указал на составленный им по „Известиям“ указатель помещенных в них трудов, доставивший ему от редактора „Известий“ название „ученого“. Алфавитные указатели были его первые печатные труды, которые он исполнял с редкой добросовестной кропотливостью. „И охота тебе возиться с этим!“ – сказал дядя. „Экий ты, братец! – отвечал он. – Ведь я за это получаю целых 30 рублей“.» Вероятно, в это же время он с той же кропотливостью начал свою первую большую работу о «Собеседнике Л. Р. С.», вызвавшую, как известно, впоследствии неодобрение таких записных ученых, как Галахов, с которым после пришлось ему полемизировать.

Но еще раньше этого Добролюбов пытался выступить в роли критика. Так, по поводу статьи Боткина о Фете, он пишет антикритику, в которой доказывает всю необоснованность и пустословие так называемой «эстетической» критики. Затем он написал критику на статью Буслаева о пословицах. Статьи он читал дяде в рукописи; обе они были проникнуты саркастическим тоном и вместе с тем свежим, здоровым взглядом на предмет и живым изложением, которое скоро создало ему имя в литературе. Тогда же дядя спросил его: отчего ты не напечатаешь? – «Ты думаешь, это очень легко? – сказал он. – Я уже пробовал, отдал было статью о Буслаеве в „Отечественные записки“, а там не приняли, потому что в статье задеты Буслаев и Афанасьев, а они хорошие вкладчики в „Отечественные записки“. Так статья и осталась ненапечатанной. Впрочем, это – ничего. Я через нее по крайней мере познакомился с Чернышевским». Добролюбов передал дяде, что Чернышевский в то время работал при

«Отечественных записках», прочитывал статьи; ему-то и досталось читать его статью. Он хотя печатать ее не велел, но зато захотел лично познакомиться с автором. Это был момент в высшей степени важный в жизни Добролюбова, окончательно определивший его будущую судьбу.

На этом и прерываются заметки дяди о Добролюбове, которые он заканчивает такой общей характеристикой настроения в институтской жизни в последние годы.

Статьи Чернышевского в «Современнике» о критиках гоголевского периода и сделали популярным его имя и между студентами. Оно сделалось для них неразлучным с именем Белинского, о котором он стал говорить в то время, когда студенты института не могли в Публичной библиотеке взять «Отечественные записки» потому только, что в них печатался Белинский. Статьи Чернышевского произвели умственное движение в институте, все с жаром бросились на них и очень наглядно увидали из сравнения наших лекционных записей с его статьями педантизм и мертвую схоластику первых. В нашем малом кружке институтском случилось то же, что совершается теперь в кругу университетском. Прежде всего, с голоса Чернышевского мы перестали считать гениальным то, что не имело *смысла,* а называли настоящим именем; равным образом мы не восхищались блестящей шумихой слов без всякой мысли. Вследствие этого между многими студентами исчезло святое рвение переписывать тетрадки лекций, готовить репетиции чуть не ежемесячно, но вместе с тем участилось путешествие в Публичную библиотеку, несмотря на строгие эдикты начальства. Неприятности между начальством и студентами росли. Так, на экзамене у Срезневского почтенный директор очень громко говорил о развращающем влиянии статей Чернышевского, в том же духе, как теперь говорят «Русский вестник» и «Северная пчела». «Помилуйте, – говорил он, – на Шевырева напал. У него только и есть недостаток, что пишет стихи! Что он нашел хорошего в Надеждине? Какое теперь вредное направление развивается в литературе, да и что от нее ждать хорошего. Кто нынче писатели? Мужик или семинарист».

Опубликовано: «Юбилейный сборник Литературного фонда» СПб. 1910.

http://dugward.ru/library/zlatovratskiy/zlatovratskiy_o_dobrolubove.html